

«Лингвистическая катастрофа» социолога, интересующегося текстовым анализом*

Ирина Троцук

Доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник
Центра фундаментальной социологии
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Доцент кафедры социологии Российского университета дружбы народов
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: irina.trotsuk@yandex.ru

Первоначально статья задумывалась как рецензия на книгу А. И. Рейтблата «Писать попереки: статьи по биографии, социологии и истории литературы», но превратилась в краткий обзор или даже попытку «классификации» литературы, необходимой для прочтения социологу, занимающемуся текстовым анализом. Подобная вынужденная метаморфоза авторского замысла объясняется рядом причин: во-первых, «методологической травмированностью» современных социологов, которые вынуждены постоянно пояснять основания своей эмпирической работы и концептуализаций в ситуации нынешней экальтивированной мультидисциплинарности социологии; во-вторых, усугублением этой проблемы в текстовом анализе, поскольку он характеризуется отсутствием конвенциональных решений даже на уровне номинаций аналитических подходов, не говоря уже о правилах и процедурах «классической» научной методологии; в-третьих, необходимостью минимальной компетенции в смежных с социологией дисциплинах, влияние которых на текстовый анализ должно четко осознаваться с точки зрения своих причин, последствий и пределов. Автор предлагает социологам опираться на следующие типы работ, посвященных разным лингвистическим аспектам социальной жизни (эти группы работ составляют основу «несоциологической» грамотности в сфере текстового анализа): 1) практические рекомендации по реализации лингвистического анализа, которые важны для корректного проведения контент-аналитических исследований; 2) публицистические оценки роли языка в социальной жизни и трансформаций современного русского языка/дискурса во всем многообразии его повседневного бытования; 3) философски нагруженные работы, посвященные не столько дискурсивному конструированию реальности, сколько фундаментальной роли языка в конституировании и разрушении разных сфер социальности; 4) исследования социального бытования текстов, с натяжкой способные вписаться в понятие социологии литературы, но не исчерпываемые ею.

Ключевые слова: текстовый анализ в социологии, лингвистический анализ, социальная роль языка, дискурсивное конструирование реальности, социальное бытование текстов, междисциплинарность, типы несоциологических работ по «проблеме текста»

© Троцук И. В., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-1-247-269

* В данной научной работе использованы результаты проекта ««Спонтанность и длительность в социальной жизни: от эпизодов коммуникации к структурам порядка», выполняемого в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2017 году.

Человек нормального склада ума склонен пренебрежительно относиться к занятиям лингвистикой, пребывая в убеждении, что нет ничего более бесполезного. Столь малая полезность, которую он усматривает в этих занятиях, связана исключительно с возможностями их применения.

Эдвард Сепир, 1924

В 2006 году с легкой руки Г. Г. Татаровой в российский социологический дискурс вошло понятие «методологическая травма»¹ — «обозначение ситуации растерянности исследователей перед обилием социологических теорий, методологий, методов в процессе принятия решений о выборе средств познавательной деятельности», причем ситуации, которая редко артикулируется, что дает основания считать данную травму латентной (Татарова, 2006: 3). Диагностировать таковую у индивидов предлагается по ряду «индикаторов» — понятийный релятивизм, жонглирование понятиями, методологический «анархизм» и пр., а у групп и социологического сообщества в целом — по ряду «симптомов», среди которых «фракционность» сообщества вследствие атомизации социологии как науки, несоизмеримость разных социологических теорий, отрыв концептуальных моделей от эмпирических интерпретаций, массовые дискуссии о качественной и количественной методологиях, эпистемологическая дилемма выбора исследовательской позиции в конкретных практиках, «маркетингованность» и «поллстеризованность» социологического сообщества и т. д. (Там же: 4).

Вероятно, наиболее очевидное для любого социолога последствие подобной методологической травмированности — ощущение, что «социолог не успевает за социологией», а наиболее «травмированными», видимо, следует считать исследователей, работающих с текстовыми данными, потому что им по определению приходится успевать не только за социологией (хотя и одна эта частная задача, исходя из определения методологической травмы, оказывается непосильной), но и за смежными дисциплинами, сфокусированными на текстовом измерении социальной жизни, в частности за историей и философией, и прежде всего за лингвистикой (и отчасти литературоведением), потому что эти дисциплины существенно раньше социологии разработали методологические подходы и методические решения для текстового анализа.

Выход из сложившейся ситуации (определенное преодоление травмированности) может быть и очень простым, и очень сложным. Первый путь, по сути, предлагает Т. ван Дейк (ван Дейк, 2014: 17), утверждающий, что раз многие фундаментальные понятия социальных наук сложны и неясны, а дать однозначные конвенциональные определения таким словам, как «текст» и «дискурс», практически невозможно, то следует отказаться от терминологических изысканий и дебатов и просто четко обозначать то «измерение», которое будет подвергнуто исследова-

1. Данное понятие введено по аналогии с понятием «культурная травма» у П. Штомпки (Штомпка, 2005: 477).

нию (например, типичные формы властного доминирования в текстах/речи/семиотических практиках, которые resultируют в типичных формах социального неравенства и несправедливости во взаимоотношениях групп/организаций), формулируя максимально четкие и частные цели аналитического поиска. Фактически по этому пути идут большинство исследователей, работающих с разными форматами текстового анализа и пребывающих в плену иллюзии, что в социологии методики работы с неформализованными данными имеют статус, вполне эквивалентный опросным технологиям, и не вызывают сомнений в своей «социологичности». Однако текстовые данные занимают в нашей науке весьма маргинальную позицию в том смысле, что как самостоятельный (а не вспомогательный к формализованным данным, полученным благодаря соответствующим опросным методикам) источник информации фигурируют в публикациях довольно редко вследствие ограниченных возможностей стандартизации принципов их интерпретации и скромных перспектив экспликации выводов. Вернее даже так: «внутри» опросного метода, если исследователь решил потратить массу времени и сил на обработку результатов применения открытых вопросов, неоконченных предложений и пр. (конечно, при условии, что гиперсознательные респонденты произвели достаточно «текстов» для анализа), его работа не вызовет особых нареканий, но как отдельная, независимая и самостоятельная методическая стратегия — несомненно.

Даже без отсылок к часто упоминаемому сегодня постмодернистскому «статусу» науки и расколотому состоянию социологического сообщества можно отметить, что за исключением вполне конвенционального метода работы с текстовыми данными — контент-анализа все иные варианты интерпретации объемной текстовой информации (нарративный, дискурсивный, лингвистический и прочие версии текстового анализа) имеют крайне различающиеся трактовки в статьях по результатам эмпирических исследований и редко содержат развернутые описания своего методического аппарата, особенно если авторы научной, публицистической или даже учебно-методической литературы выбирают тот или иной аналитический подход как концептуальный «фрейм».

Безусловно, в значительной степени тому есть «объективные» причины. Одна из основных — бесконечная многозначность базового для нынешнего социально-гуманитарного знания понятия «текст» (см., напр.: Белянин, 1999: 65), т. е. речь идет о неопределенности и размытости объекта изучения (предметом интереса применительно к нему может быть практически все что угодно). В принципе достаточно противоречивые и бесчисленные трактовки текста можно свести в три базовые группы (Чернявская, 2010: 12): высший уровень в языковой системе, включающий в себя такие «единицы», как слово, словосочетание, предложение (т. е. текст рассматривается с позиций грамматики, внутритекстовых связей и средств их реализации); результат использования языковой системы в речи (т. е. текст как «язык в действии»); и единица общения, отражающая цели участников коммуникации и обладающая относительной смысловой завершенностью. Впрочем, можно обойтись и без содержательных «детализаций», признать недостаточность интралинг-

вистического подхода к определению текста (Залевская, 2005: 342) и подчеркнуть, что социальное бытование неизбежно наделяет любой (по содержательным и формальным характеристикам) текст такими свойствами, как информативность, адресность, интертекстуальность, когезия и когерентность (Рождественская, 2010: 88) (семантическая и прагматическая связность). Они и придают завершенность последовательности языковых или неязыковых знаков, значение которой зависит от конвенциональных правил (кодов) их подбора, сочетания и интерпретации (декодирования) (Чернявская, 2010: 14).

Собственно отсутствие сегодня неких общепринятых критериев выделения видов/типов текстов объясняется как раз тем, что внутритекстовые характеристики (текстограмматические и семантические) перестали считаться (и быть) достаточными — стали учитываться и экстралингвистические аспекты — иллокутивные (тексты могут быть декларативными, аппеллятивными и оценочными), пропозициональные (например, рецензия может быть научной, публицистической, шуточной или издевательской), коммуникативные (устный или письменный текст, монологический или диалогический и т. д.). Все это породило известную «проблему текста» как признание невозможности (и нежелательности) однозначной трактовки смысла текста в силу его сложной, многоплановой, многоуровневой и при этом нефиксированной природы: денотации было отказано в праве выступать основной моделью интерпретации — данный статус обрела коннотация как совокупность всех социокультурно и ситуативно обусловленных смысловых оттенков, которые и определяют логику порождения и восприятия текстов даже в рамках прежде считавшегося достаточно (но не совсем) невинным с точки зрения «языковых игр» научного дискурса.

В результате в рамках текстового анализа именно в социологии (поскольку менее эмпирически ориентированные дисциплины, не озабоченные проблемами репрезентативности и экспликации данных, часто вообще игнорируют методические вопросы) исследователи нередко реализуют биографический, нарративный или дискурсивный анализ, как бы оставляя за скобками лингвистическое «измерение» объекта своего изучения. В качестве имплицитного обоснования выступает акцент на особенностях «текстов» и специфических контекстах их бытования, тогда как лингвистические их характеристики остаются за скобками, как и традиционные социологические требования репрезентативности, валидности, надежности и пр., и мало кто из исследователей убежден, что раз «дискурсу необходимы основные понятия, для того чтобы выразить, о чем идет речь, то анализ понятий требует обладания как лингвистическим, так и нелингвистическим контекстом...» (Бёдекер, 2010: 64). Все это приводит к тому, что в социологии оказываются разорваны два предметных поля — исследования биографий, нарративов и дискурсов с обращением к самым разным концептуальным моделям, с одной стороны, и узко направленные эмпирические исследования с использованием контент-анализа — с другой, даже если представители обоих «полей» признают, что лингвистическое измерение позволяет понять закономерности сочетания предложений

и способы макроструктурной семантической интерпретации коммуникативных текстов в разных «моделях ситуации» и «наборов личностных знаний». Во втором предметном поле потенциал лингвистического анализа используется существенно чаще, например, подсчитывается частота встречаемости конкретных (видов) слов и словосочетаний, чтобы «определить функционалы, которые могли бы помочь в классификации текстов в соответствии с тем или иным признаком (автор, жанр, эпоха)... не вторгаясь собственно в область литературы, т. е. не анализируя синтаксис, литературные приемы, схемы взаимодействий персонажей и т. д.» (Орлов, Осминин, 2012: 27); тогда как в первом предметном поле этот потенциал чаще просто признается, например, когда дискурс определяется как «последовательность паттернов, конституированных через контекст намерений, которые проявляются на лингвистической поверхности как последовательность лингвистических действий» (Тичер и др., 2009: 242).

Более сложный вариант «излечения» от «методологической травмированности» социолога в рамках текстового анализа требует существенно больших усилий по изучению огромного и разнородного массива литературы, посвященной лингвистическим проблемам (за исключением, видимо, историографических тематик (Кондрашов, 2004; Кюглер, 2005; Макаров, 2003) и сложнейших математизированных психолингвистических экспериментов (Залевская, 2005), хотя и здесь есть множество полезных для социолога «сюжетов»). Пытаться структурировать данную библиографическую «кучу» (в сорокинской терминологии) — задача бессмысленная и нереализуемая, поэтому попробуем выделить здесь несколько полезных для социологического изучения типов «текстов». Во-первых, наиболее полезны с методической точки зрения для проведения контент-аналитического исследования практические рекомендации по реализации разных версий лингвистического анализа. Безусловно, здесь не будет статей, посвященных проблемам замены «аутентичных» повествований респондентов их транскрибированными и отредактированными версиями или же форматам презентации «текстов» информантов — в крайне фрагментарном и отретушированном виде преимущественно в иллюстративных целях, в практически «оригинальном» виде, почти без стилистической и логической редактур, с небольшими комментариями (Козлова, Сандомирская, 1996: 10), или же полностью «фигуральными» (Gilgun, 2004) — все это сугубо социологические проблемы. В эту группу работ также не следует включать концептуальных обоснований того, что слова имеют «собственный смысл, а этот смысл отсылает к определенным реальностям и объектам... причем абсолютно безразлично, идеологическая или эмпирическая природа у этих реальностей и объектов... семантика покровительствует именно определенным способам организации идей и опыта» (Козеллек, 2010: 22, 28).

Речь идет о работах, в которых предлагаются разные решения (назвать их методическими не всегда представляется возможным) для практической реализации лингвистического анализа применительно к конкретному «высказыванию» или совокупности текстов. Так, может подсчитываться встречаемость букв (состав-

ляются ранжированные по частоте использования в художественной литературе списки букв алфавита) и их словосочетаний в печатном тексте; выделяться и сопоставляться с точки зрения своих прагматических задач уровни текста (образно-языковой — инвенции, структурно-композиционный — диспозиции и идейно-тематический — элокуции) (Шевченко, 2003); применяться разные «техники чтения»: стилистическое экспериментирование — различные аранжировки текста, оценка отступлений от языковых правил, индивидуальной многозначности, наращивания смысловых элементов, или стилистические сопоставления — обнаружение сходств и различий в языковом (внешнем) оформлении текстов однотипного (внутреннего) содержания (Купина, 1980: 16–32); оценка качественного своеобразия текста через подсчет прилагательных, наречий, глаголов, местоимений, существительных и их конкретных видов (Мартынов, 2001); определение регистра — коммуникативного типа речи, формирующегося в зависимости от пространственно-временной позиции говорящего/пишущего и его отношения к сообщаемому по частотности соответствующих «индикаторов» (Золотова, Онипенко, Сидорова, 1998: 28–29); оценка информативности (содержательно-фактуальной, содержательно-концептуальной и содержательно-подтекстовой) и модальности (объективной и субъективной) текста для идентификации авторского замысла (Гальперин, 2009; Шевченко, 2003) и т. д. (более подробно см.: Троцук, 2014). Иными словами, в данной группе работ обозначено, как именно можно подвергнуть «анализируемый текст расчленению, своеобразной вивисекции, квантификации на те лингвистические единицы речи, которые служат в тексте индикатором определенных явлений действительности, идей, моделей поведения и т. п.» (Федотова, 2001: 31).

За исключением данной, вполне понятной по своим содержательным акцентам группы работ, выделить остальные даже в достаточно узком социологически релевантном круге (около)лингвистических работ крайне сложно — приходится заниматься практически сизифовым трудом по систематизации оснований, подходов и принципов работы с неформализованными данными в эмпирическом исследовании. Проблема в том, что оставшийся после вычленения первого типа работ круг источников, которыми социолог в принципе может (и даже должен) пользоваться в сфере текстового анализа, все еще предельно широк и крайне мозаичен и представить некий кратко-обобщающий его обзор вряд ли возможно², поэтому ниже будут обозначены лишь определенные лингвистические «кейсы», которые могут оказаться в руках социолога.

2. Следует признать, что справиться с этой задачей автору рецензии не удалось и в рамках собственного диссертационного исследования, библиография которого насчитывала 669 источников, но все равно вызвала критические замечания оппонентов своей неполнотой в связи с отсутствием в ней как конкретных персонажей, так и особых исследовательских направлений в рамках методологии анализа текстовых данных. Тем не менее будем исходить из того, что в библиографии докторской диссертации представлены (почти) все (почти) обязательные для прочтения социологом работы по текстовому анализу в широком междисциплинарном контексте его бытования поле.

Итак (к сожалению, хотя это затрудняет восприятие повествования, но иначе не получается), во-первых, это работы, посвященные вполне публицистической оценке роли языка в социальной жизни в целом и трансформациям современного русского языка/дискурса в данной функции во всем многообразии его повседневного бытования. В качестве примера работ, характеризующих социолингвистические проблемы современности, можно назвать книгу В. Плуногяна «Почему языки такие разные» (Плуногян, 2016), в которой рассмотрено необыкновенное разнообразие человеческих языков, их различия (в разных странах, в формате диалектов или жаргонов), взаимное влияние (исторически и географически обусловленное, в виде диглосии, билингвизма и пр.) и удивительный антропоморфизм — похожесть на людей с точки зрения своего жизненного цикла (языки тоже рождаются, умирают, вступают в родственные отношения и образуют «семьи»).

Другой пример — книга Г. Дойчера «Сквозь зеркало языка: почему на других языках мир выглядит иначе» (Дойчер, 2016), посвященная оценке обоснованности попыток «философов всех стран и направлений становиться в очередь, чтобы заявить, что каждый язык отражает качества народа, который на нем говорит» (Дойчер, 2016: 9). Констатируя общую проблему «этого впечатляющего интернационального единодушия — оно рушится сразу же, как только мыслители переходят от общих принципов к размышлению о конкретных свойствах тех или иных языков и о том, что эти лингвистические свойства могут рассказать о качествах конкретных народов» (Дойчер, 2016: 10), автор на конкретных примерах заблуждений — что английский язык превосходит французский по ряду признаков, включая логику, что языки американских индейцев диктуют «монистический взгляд» на Вселенную и пр. — показывает, что доминирующая среди современных лингвистов точка зрения, что «язык есть прежде всего инстинкт... основы языка закодированы в наших генах и одинаковы для всего человечества... все языки в своей основе объединены одной и той же универсальной грамматикой, общими подразумеваемыми понятиями, одинаковой степенью системной сложности», не вполне верна, поскольку «культурные различия отражаются в языках очень глубоко, а растущий массив научных исследований убедительно показывает, что наш родной язык может влиять на то, как мы думаем и воспринимаем мир... Культура может оставлять более глубокие отметины там, где мы не опознаем их как таковые, где ее традиции столь неизгладимо врезались во впечатлительные юные умы, что мы выросли, принимая их за нечто совершенно иное» (Дойчер, 2016: 14–15). Речь идет о культуре в предельно широком смысле — как совокупности знаний, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и прочих способностей и привычек человека, усвоенных им как членом определенного общества, прежде всего через язык.

Язык для Дойчера — «культурная условность, которая не притворяется ничем иным, кроме культурной условности. Языки земного шара чрезвычайно разнообразны, и все знают, что конкретный язык, который осваивает ребенок, это лишь случайность, зависящая от той культуры, в которой его угораздило родиться...

Наиболее очевидная разница между языками в том, что они выбирают разные имена, или ярлыки, для понятий» (Дойчер, 2016: 18–19). Впрочем, случайность языковых ярлыков не абсолютна — «любой язык делит мир на категории, объединяющие объекты, сходные в действительности — или хотя бы в нашем восприятии действительности» (Дойчер, 2016: 21). И набеги культуры не ограничиваются сферой абстрактных понятий (таких как доверие, справедливость, разум, дух и пр.) — в области языка нашествие культуры безгранично даже в сфере простейших понятий, маркирующих части тела, пространственное размещение и цвета.

В обосновании своего восприятия роли языка в социальном конструировании реальности (если перевести задачу книги на социологический «язык») автор рассказывает об «аферистах» от науки на примере Б. Уорфа (его афера для автора состоит в порождении иллюзии, что «язык — это место заключения для мыслей, что он ограничивает способность своих носителей логически рассуждать и препятствует им в понимании идей, которые в ходу у носителей других языков» (Дойчер, 2016: 191)) и приводит примеры недавних открытий «бесстрашных исследователей», которые применяли строго научные методы и показали удивительное влияние специфических черт родного языка на мышление. Причем их данные «не принесли победы ни одной из сторон — ни хищным культуралистам, ни педантичным нативистам», поскольку «культура пользуется ограниченной свободой... в известных пределах, поставленных природой» (Дойчер, 2016: 117), например, применительно к маркированию конкретных цветов и пространства (географически или эгоцентрически) «директивы природы могут быть дополнены или даже поправлены выбором культуры» (Дойчер, 2016: 118), т. е. культурные условности маскируются под природные универсалии (влияние пространственных координат на модели запоминания и ориентирования, грамматического рода — на ассоциации, цветовых обозначений — на чувствительность к различиям цветов).

Группу работ, посвященных трансформациям современного русского языка/дискурса, составляют вполне многочисленные сегодня научно-популярные тексты, авторы которых фиксируют социокультурные изменения российского общества через определенные языковые маркеры и/или колебания прежде устойчивых языковых норм. В качестве примера можно привести неоднократно переиздававшуюся книгу М. Кронгауза «Русский язык на грани нервного срыва» (Кронгауз, 2008) или работу Г. Гусейнова «Нулевые на кончике языка: краткий путеводитель по русскому дискурсу» (Гусейнов, 2012). Кронгауз в увлекательной форме, характерной для его многочисленных интервью и публичных выступлений, пытается урезонить две «радикальные» группы, выступая в качестве «собеседника, понимающего суть проблем и способного к их рациональному анализу, а не только к эмоциональным оценкам»: с одной стороны, тех, кто панически возвещает закат (порчу, гибель) русского языка (вследствие снижения его общего «интеллектуального уровня» или засилья западных клише, прежде всего американизмов); с другой стороны, тех, кто безмятежно уверен, что с русским языком вообще ничего не

происходит. Отповедь первым слышна в пассажижах о понятии «менеджер» (весьма важном и частотном для социологии в управленческой сфере):

Если подумать, слово «менеджер» совершенно уникально, и ничем заменить его нельзя. В новых словарях оно толкуется как «нанимаемый руководитель предприятия». Но это не так (в этом значении, скорее, скажут «топ-менеджер»), и по существу слово «менеджер» означает почти любую наемную профессию... Русскому языку понадобилось заимствовать такое абстрактно-пустоватое слово, потому что за этим словом скрывается не столько профессия, сколько образ жизни, целая культура, которую можно назвать корпоративной, или «культурой белых воротничков». Менеджер — это стабильная работа, стабильная зарплата, стабильные привычки, наконец, просто стабильная жизнь... Стать менеджером означает чего-то добиться в жизни, завоевать свое место под солнцем... Это действительно чем-то похоже на инженера в советское время... (Кронгауз, 2008: 45)

Покой второй группы автор тревожит на том же самом примере: «Но русский язык не был бы русским, если бы не сумел сыронизировать над собой и... не породил слово-близнец — „менеджер“... Различие заключается в ироническом отношении к соответствующей культуре, статусу и привычкам, и к себе, менеджеру, в том числе. И понятно, что никто не захочет зваться „менеджером торгового зала“» (Кронгауз, 2008: 46). В целом автор спокойно относится к заимствованиям, но только в том случае, если они становятся «слегка адаптированными, как бы обрусевшими... встраиваются в систему русского языка с помощью родной грамматики» (Кронгауз, 2008: 41) и используются в меру.

Кронгауз с интересом препарирует и сегодняшний интернет-сленг (частью которого является знаменитый «язык падонков»). Отмечая, что специфических для интернета слов и выражений немного (около сотни) и потому ничего особенного в данном сленге как бы нет, он все же подчеркивает, что на него следует обращать пристальное внимание в силу ряда причин (Кронгауз, 2008: 89): его необычайной популярности и потому невероятно сильно эмоционально окрашенного его восприятия (от восторга до ненависти), социально-дифференцирующего характера (проводит границы между «своими»/членами интернет-сообщества и «чужими»), чрезмерно агрессивной экспансии далеко за пределы интернета (разговорная речь, сообщения средств массовой информации и пр.) и игрового характера (состоит исключительно из игровых моделей, похожих на «постоянное подмигивание»). В распространении, даже выплеске интернет-сленга за пределы виртуальной среды Кронгауз видит неизбежность одновременно позитивного (все неправильные, необычные написания выразительны и потому активно используются) и негативно-го характера («по мере привыкания к ним... они станут совершенно обычными, нейтральными написаниями, но правила орфографии при этом мы потеряем безвозвратно» [Кронгауз, 2008: 90]).

(Научно)публицистический характер работ Кронгауза не лишает их выверенной научной дистанцированности — автору чужды идеологические отступления и страсть к критике социально-экономических и политических реалий нынешней российской действительности. Подобная ангажированность — фирменный стиль текстов Г. Гусейнова, где обращение к лингвистическому «измерению» социальной жизни, наоборот, выглядит как удобный автору концептуальный фрейм для высказывания собственных и, как правило, критических суждений о российской — и не только — действительности. Поэтому спектр тематик в книге Гусейнова более «политизирован»: затрагивает исторически не нейтральные периоды (например, 1920–1930-е годы, когда «суровая правда жизни побивала все ухищрения даже самых талантливых шутников» [Гусейнов, 2012: 15]), непреходящие публицистические сюжеты (скажем, о роли в истории «маленького человека»), в том числе социолингвистические (сержант российской полиции «умеет распознавать до десяти различных акцентов — помимо трех южнокавказских — армянского, грузинского и азербайджанского, различает среднеазиатские, молдавский, литовский, эстонский» [Гусейнов, 2012: 19]) и о политкорректности (как «постоянном отыскивании более правильных на данный момент слов взамен менее правильных», особенно в случае конфликтов между политкорректностью и политическими обстоятельствами), а также предлагает зарисовки о нашей жизни в мире текстов, ставшие возможными вследствие «лингвистического» и прочих «поворотов» («как многие догадываются, некоторые страны преследуют Джулиана Ассанжа вовсе не за его дела, а за его слова» [Гусейнов, 2012: 43]). Впрочем, в книге встречаются излишне жесткие и несправедливые в своей категоричности и общности оценки (например, о «людях в России» [Гусейнов, 2012: 69]).

Объединяет работы Кронгауза и Гусейнова как показательные «кейсы» полезной для социолога несоциологической литературы черта, которая, по крайней мере пока, считается недопустимой для социологических текстов: полное пренебрежение проблемой репрезентативности/типичности. Авторы делают выводы на основе отдельных ярких иллюстраций, которые фиксируют некие изменения в обществе, но отнюдь не позволяют судить об их типичности, распространенности, симптоматичности в каких бы то ни было масштабах (городских районов, типов поселений, социальных групп и пр.). Это ни в коей мере не отменяет важности и нужности подобных работ для социологического чтения (в замечательном сборнике статей ван Дейка (ван Дейк, 2014) ситуация с обоснованием примеров не лучше) — просто следует предупредить социологически травмированного читателя о неправомерности предъявления авторам соответствующих претензий относительно экспликации выводов по результатам социолингвистических наблюдений и зарисовок, пусть даже они и стремятся зафиксировать «то существенное, что изменилось в массовом отношении к языку» (с. 7) в хронологической и поколенческой перспективах. Кстати, никакими статистическими выкладками не подкрепленные обобщения встречаются и в социологических статьях, когда по одному небольшому биографическому нарративу исследователь делает выводы о

специфике гендерных, профессиональных, семейных, классовых и прочих отношений (см., напр.: Franzosi, 1998).

Второй тип лингвистических текстов, с которыми может столкнуться заинтересованный социологический читатель, — это неожиданно избыточно философски нагруженные работы, которые не предупреждают о таковых своих особенностях в названии или аннотации (впрочем, здесь возможны и погрешности индивидуального восприятия). Речь не идет о философствовании о языке в том смысле, в каком о нем упоминает, скажем, Кронгауз: «После перестройки мы пережили минимум три словесные волны: бандитскую, профессиональную и гламурную, а в действительности прожили три важнейших одноименных периода... можно просто произнести те самые слова, и за ними встанет целая эпоха — это философия языка» (Кронгауз, 2008: 14). Имеется в виду иной тип работ, который социологу покажется, видимо, странным³, что не следует считать критическим выпадом против содержания или аннотированной адресности книги М. Аркадьева «Лингвистическая катастрофа» (Аркадьев, 2013), предназначенной «всем, кто интересуется проблемами человеческого существования, культуры, философии, религии, языкознания и истории» (список интересов столь же впечатляющий, сколь и неспецифицированный).

Книга начинается с «Краткого ненаучного предисловия», что, впрочем, не дезориентирует читателя — претензии автора носят сугубо научный характер, несмотря на внешнюю (маскировочную) публицистичность текста, где нет глав или параграфов — только «темы», «вариации» и «маргиналии». Автор демонстрирует поразительную эрудированность, чтобы показать катастрофичность человеческого существования, зафиксированную с помощью языка и в нем самом, посредством научного и наукообразного дискурса (в тексте масса неологизмов, по крайней мере, для социолога) и столь внушительного «поминальника» имен из самых разных дисциплинарных полей (философия, лингвистика, математика, история, психоанализ и т. д.), что, читая книгу, невольно осознаешь собственную интеллектуальную неполноценность, наблюдая такую эрудицию и способность буквально жонглировать именами, цитатами и ссылками, «ведя непрерывную беседу со всеми, так или иначе доступными философскими и теологическими текстами» (Аркадьев, 2013: 13). Для автора «лингвистическая катастрофа — это разрывная структура человеческой... экзистенции. Нам не грозит катастрофа извне — мы и есть катастрофа... сам человек, вид, мыслящий о мысли... и потому с самого начала погруженный в топологию и логику рекурсивного разрыва» (Аркадьев, 2013: 14). Данное определение фиксирует пафос книги, не характерный для нынешнего социально-гуманитарного дискурса: «Хотя твои старания заранее обречены, надо

3. Право использовать столь нехарактерное для научного дискурса определение — «странная» — дает сам автор, в первой фразе книги «предлагающий вниманию читателя нечто, как принято считать, скоропортящееся, а именно концепцию, претендующую на истинность... в тексте, насколько это возможно, научном... с экзистенциальной интонацией... и философствующей направленностью» (Аркадьев, 2013: 11).

пытаться понять все... построить „теорию всего“ (с полным пониманием недостижимости задачи)» (Аркадьев, 2013: 14–15).

Основная тема книги — суть и проявления лингвистической катастрофы — задается провокационным вопросом «как возможны одновременно Акрополь и Освенцим?» (извечным вопрошанием о сосуществовании гениальности и злодейства). Тезисно суммировать рассуждения автора, снабженные огромным количеством «цитаций» и аллюзий вряд ли возможно, но речь идет о том, что человек фундаментально диссонансен, поскольку стремится к непрерывности (бессмертности), но путь его конечен (катастрофичен), и он пытается как-то компенсировать этот фундаментальный разрыв и собственную бездомность в мире посредством техники, искусств, ремесел и прочих искусственных элементов среды, что ему не удастся, поскольку даже самые устойчивые социально-космологические образы постоянно рушит лингвистическая катастрофа, «внутренняя трещина, растущая из повседневной человеческой речи» (Аркадьев, 2013: 58), порожденная «лингвистической травмой» (разрывом между субъектом и его партнером по коммуникации, между субъектом и объектом его высказывания, между универсальным коммуникативным пространством языка и тем гипотетическим миром, который данное пространство пытается «высказать»). «Мы вовлекаемся окружающими нас людьми в радостную игровую и одновременно разрывную коммуникативную деятельность и тем самым оказываемся „обречены“ на язык, на сознание смерти, на сначала незаметную, затем все более и более ощущаемую нами трещину — лингвистическую катастрофу, как и на последующее стремление от нее избавиться» (Аркадьев, 2013: 63–64). Так, культура для автора — совокупность «техник борьбы с разрывом, с историчностью, открытостью, деструктивностью языковой деятельности, способов склеек, сшивания изначально разорванной для человека „ткани бытия“» (Аркадьев, 2013: 98).

Основное содержание книги составляют авторские размышления о шести вариациях обозначенной темы — «лингвистической катастрофы».

1) Всю человеческую историю и культуру, все социальные структуры, мифы, ритуалы, формы религии, искусства, философии и науки автор считает результатом лингвистического разрыва и осознания/интериоризации смерти и одновременно попыткой его преодоления/склеивания: «человеческая экзистенция стремительно бьется, как челнок, между двумя экстремальными точками» (Аркадьев, 2013: 110) — возвращение в первичное состояние (наркотический, анестезирующий инструментарий мифологической, ритуальной и — в целом — культурной традиции) и выход в гипотетическую сверхсознательную сферу (трансцендирующий инструментарий философской традиции).

2) Затем автор рассматривает эксцессы человеческой истории, выраженные тоталитарными режимами, мировыми войнами, холокостом и ГУЛАГом, и утверждает необходимость балансировать на краю пропасти лингвистической катастрофы посредством соблюдения правил цивилизованного общежития в сверхсложной социальной системе демократического типа (Аркадьев, 2013: 169). Автор

не переходит на уровень «приземленного» лингвистического анализа (скажем, исследуя вербальные техники конструирования образа врага), но констатирует то же самое на более высоком уровне абстракции: «специфический человеческий опыт как таковой и его структура существуют только благодаря языку и тому разрыву/разрывам, которые он перманентно осуществляет» (Аркадьев, 2013: 184).

3) Далее автор отмечает проблему «забывания», почему мы пользуемся теми или иными «научными» понятиями (автоматически, по привычке), хотя, как правило, прекрасно отдаем отчет в «неточности гуманитарных наук»: «рождение института школы отмечает появление в культуре специального социального механизма для активизации и трансляции рефлексивности через систему логических понятий; ...институт всеобщего образования делает этот механизм тотальным и именно поэтому автоматизируя его, создает иллюзию его естественности» (Аркадьев, 2013: 204).

4) Весьма неожиданно для читателя автор переходит к критике феноменологического проекта за «игнорирование предположения, что сознание как таковое, а не его деформация уже может расцениваться... как некая первичная деформация» (Аркадьев, 2013: 226), и философии в целом — за «удручающее невнимание» к ключевым лингвистическим текстам и проблемам, хотя именно «лингвистика имеет дело с парадоксальной самореферентной структурой языка, удерживая и подчеркивая как раз те особенности языка, которые являются определяющими при разговоре о сознании» (Аркадьев, 2013: 235) (например, «способность говорящего к перевертышам, палиндромам и другим фонематическим комбинациям является важным свидетельством речевого здоровья» [Аркадьев, 2013: 250]).

5) Далее автор ставит «радикальный вопрос об автобиографии» в такой терминологии, как «пауза», «танатос», «сознание», «дуальность», «свобода» и «чистое мышление», и признается, что его «мыслительные конструкции носят совершенно непозволительный характер очередного тотального проекта, так как он пытается предложить некий „универсальный код“ для интерпретации всех возможных текстов и экзистенциальных „ситуаций“, исходя из предположения, что они существуют и могут быть поняты» (Аркадьев, 2013: 291), в итоге с читателем его связывает общее чувство недоумения от собственного текста.

6) И, наконец, автор, по сути, обозначает философское «измерение» языковых проблем как базовое для лингвистической проблематики, потому что именно философия — ресурс «демифологизации, освобождения мышления от „идолов“, лежанок и костылей, т. е. непроясненных посылок и постулатов, или... „мифов“» (Аркадьев, 2013: 331). Апеллируя к лингвистической катастрофе, философия проявляет фундаментальную бездомность человека, «деавтоматизирует язык, препятствуя мифу стать руководством к действию — к теоретически или как угодно иначе оправданному насилию» (Аркадьев, 2013: 340), и при желании социолог может обнаружить здесь переход на эмпирический уровень лингвистического анализа социальной агрессии.

Безусловно, книга Аркадьева очень сложна для восприятия, требует от читателя неплохой ориентировки в истории развития лингвистических (и не только) учений в широком междисциплинарном контексте, поэтому вряд ли ее можно рекомендовать студентам-социологам, но обязательно — исследователям, которые рассматривают лингвистический анализ не только как набор удобных технических приемов «препарирования» некоторых текстовых массивов. Книга, несомненно, расширяет интеллектуальный диапазон заинтересованного читателя, в том числе показывая, как можно компоновать научный текст не по лекалам научной традиции: например, помимо классических «маркеров» научного дискурса (внушительный отсылочный и библиографический аппарат, глоссарий, примечания, которые можно читать как вполне самостоятельный текст), здесь есть «маргиналии» (особые контексты рассмотрения основной темы — эсхатологический, еретический, имморальный, эпистолярный, искусствоведческий, темпорологический, антифашистский и диалогический), неологизмы (по крайней мере, на взгляд читателя-социолога — «интериоризация смерти», «прафашизм» и пр.), очень спорные, но безапелляционно поданные суждения (скажем, что невербальность — это «мифологизация, понятие-маска, шифр, который прикрывает, камуфлирует бессознательно/сознательно стремление к „возвращению“ в доязыковое сознание», что овладение родным языком и есть момент осознания смерти (Аркадьев, 2013: 99), что марксизм в России вытеснил тысячелетнюю христианскую культуру (Аркадьев, 2013: 163), что холокост европейских евреев во Второй мировой войне — «пример... реставрации практик архаического каннибализма и человеческих жертвоприношений» (Аркадьев, 2013: 491) и т. д.) и эпиграфы ко всем структурным разделам — «сознание убивает жизнь... само сознание — болезнь» (Ф. М. Достоевский), «стремление всех людей писать и говорить об этике или религии было стремлением вырваться за границы языка» (Л. Витгенштейн), и даже Ю. Мисима, видящий «одинаковый смысл в понятиях „созидание“ и „разрушение“ в истории».

Пример третьего типа работ, способного заинтересовать широкий круг читателей, но важного для любого исследователя социального бытования текстов, — книга А. И. Рейтблата «Писать поперек: статьи по биографике, социологии и истории литературы» (Рейтблат, 2014). Аннотация позиционирует данную работу как сборник статей (разных по жанрам, темам, периодам и годам написания), «посвященных таким малоизученным вопросам, как соотношение биографии и „жизни“, мотивы биографа, смысловые структуры биографического нарратива, социальные функции современного литературоведческого комментария и дарственного инскрипта на книгах» (Рейтблат, 2014: 4). За исключением последних двух пунктов остальные вопросы вряд ли кто из социологов маркировал бы как малоизученные, но в этом и состоит одна из проблем текстового анализа в социологии — слишком междисциплинарное поле заимствований в сфере категориального аппарата, методологических подходов и методических приемов заставляет сталкиваться то с менее, то с более разработанными вопросами в смежных предметных полях.

Как и любой сборник, объединяющий статьи, написанные за длительный промежуток времени, данная книга разнотематическая, поэтому социологу, занимающемуся текстовым анализом, вероятно, будут интересны не все представленные в ней материалы (или интересны в разной степени), однако важна сама интенция автора: «мыслить и действовать нетривиально, стремиться искать новые пути и новые подходы... специфический взгляд на литературу, существенно отличавшийся от литературоведческого... „взгляд снизу“, не нормативный, а дескриптивный, учитывающий многообразие читательских практик и интерпретаций читаемого» (это вполне этнографический подход к изучению «племени читателей»), «социологическое видение литературы — как специфического социального института, основывающегося на сложном взаимодействии ролей внутри него (автор, читатель, издатель, книготорговец, критик, педагог и т. д.) и находящегося в постоянном взаимодействии с другими социальными институтами (государство, экономика, мораль, религия и т. д.)» (явно институциональный подход к текстам с акцентом на микроуровне ролевых взаимодействий), и «биографиписание о смысловой структуре и механизмах „сборки биографии“» (очевидно биографический метод) (Рейтблат, 2014: 57). В этом смысле книга одновременно и «просвещенческая» (по персоналиям русской литературы с социологических позиций, по аналитическим подходам к изучению многообразия писательских практик, форм литературной коммуникации, читательской рецепции и пр.), и образцовая — как прекрасный пример обращения «к таким предметным сферам и проблемам, которые не изучаются или почти не изучаются, поскольку не вписываются в рамки существующих дисциплин либо табуированы в силу устоявшихся идеологических и эстетических иерархий и предпочтений» (Рейтблат, 2014: 6) (это описание очень подходит для характеристики сферы текстового анализа в социологической науке).

Книга состоит из трех разделов, наименее социологичным из которых, видимо, является третий — «История литературы», тогда как в первых двух — «Социология литературы» и «Биографика и биографии» — встречаются более социологически «нагруженные» статьи или отдельные параграфы. Тем не менее и от статей в третьем разделе невозможно оторваться, например, от статьи о «Пьесах-сказках в русском театре второй половины XIX — начала XX века», развенчивающей странный социальный миф, что в дореволюционный период пьес-сказок в репертуаре театра не было, хотя уже в конце XIX века авторы и публика стали отходить от натуралистической и бытовой проблемной драматургии, обратившись к сфере мистики и символизму: к 1909 году «пьеса-сказка стала полноправным драматургическим жанром, и тем самым была подготовлена почва для расцвета жанра пьесы-сказки в советский период» (Рейтблат, 2014: 380). Помимо занимательных тематических акцентов (Пушкин-гимнаст, фельетонист в роли мемуариста и пр.), в третьем разделе встречаются наблюдения, которые бы прекрасно смотрелись в любой социологической работе, скажем, что «выстраивание мифологической реплики на реальном материале — процесс непростой: необходимо так „упаковать“ факты, чтобы итоговой конструкции поверила публика... существенно

деформировать информацию о реальном положении дел, „забыв“ одни факты и существенно трансформировав сведения о других» (Рейтблат, 2014: 324) (это суть любой биографической реконструкции, презентующей рассказчика с позиций «здесь-и-сейчас»).

В первом разделе сборника автор рассматривает русскую литературу как социальный институт преимущественно в историографическом ключе обретения ею необходимых для данного статуса атрибутов (функции, в частности, «поддержания культурной идентичности общества на основе тиражируемой письменной записи» (Рейтблат, 2014: 13), взаимодействующие социальные роли — писателя, читателя, издателя, критика, литературоведа, педагога и др.), в результате сегодня «литература как институт, политически и экономически независимый от государства, существует в России, правда... социальная значимость ее уменьшилась — сейчас намного большее значение имеют (в выполнении, по сути дела, тех же функций) кино и особенно телевидение, а их государство контролирует почти полностью» (Рейтблат, 2014: 32).

Также автор характеризует прошлое и настоящее «языческого русского мифа» об исключительности России как мифологему, которая, «пусть существенно ограниченная в своей значимости и социальной действенности, продолжает существовать и сегодня, правда, теперь влияет на жизненное поведение в гораздо меньшей степени, будучи ограничена научными и практическими знаниями, отсутствием соответствующих социальных ритуалов и т. д.» (Рейтблат, 2014: 33); исследует политические взгляды и журналистскую деятельность Ф. В. Булгарина и А. С. Пушкина, не вполне оправданно отказывая слухам и «народной молве» в праве претендовать на статус форм общественного мнения (поскольку, в отличие от западной роли реального социально-политического института, российское общественное мнение для него квазифеномен, имитируемый государством в периодике), но справедливо отмечая условность терминов «консерватор» и «либерал», а также производных от них, уже в первой половине XIX века; реконструирует образ еврея в русской драматургии второй половины XIX века, исходя из убеждения, что «литература отражает не „жизнь“, „реальность“ и т. п., а мир человеческих ценностей, представлений, стереотипов... поэтому при сравнении литературы и „действительности“ нужно учитывать наличие большого числа „преломляющих призм“» (Рейтблат, 2014: 79–80); оценивает социальное воображение в советской научной фантастике 1920-х годов, вернее, формы желаемого общественного устройства в прозе полутора революционных десятилетий; обозначает предметное поле социология инскрипта (авторской дарственной надписи на книге) — его поэтику, этикет, социокультурные функции и т. д. по материалам инскриптов литераторов второй половины XIX — начала XX века; и, наконец, оценивает роль комментария в эпоху интернета — с позиций соотношения запросов и ожиданий комментатора и читателя комментариев как обобщенных социальных ролей в развитой литературной системе с дифференцированным набором ролей.

Второй раздел сборника статей призван прикрыть симптоматичные для отечественного литературоведения лакуны, которые для широкой читательской аудитории таковыми вряд ли являются, а потому «просвещенческий» с исследовательских и общечеловеческих позиций пафос книги считается очень явно, особенно в метких авторских типологизациях в названиях («славяновед и примиритель славян», «подколотный эстет с мягкой душой и твердыми правилами», «ученик Достоевского», «биографируемый и его биограф» и др.) и содержании статей (например, «подобное самоощущение толкало к пьянству... постоянно болеющий и постоянно пьющий» [Рейтблат, 2014: 231]). В этом разделе автор характеризует ряд периодов в истории российского общества, причем и посредством цитат их ярких представителей и наблюдателей, из которых, например, в первой четверти XIX века сложился «распространенный тип ученых-„народоведов“» (Рейтблат, 2014: 264). Говоря о работах Ю. А. Айхенвальда, видного литературного критика первой четверти XX века, автор дает им характеристику, которую, если убрать сугубо литературоведческую компетентность, хотелось бы получить любому социологу, использующему биографический метод: «Благодаря хорошему вкусу, глубокому знанию литературы и художественной чуткости Айхенвальд, как правило, давал тонкую и проникновенную интерпретацию разбираемого автора, особенно если он был ему „по душе“» (Рейтблат, 2014: 240).

Не менее точно Рейтблат фиксирует и проблемы биографического анализа на примере журналиста и писателя Ф. В. Булгарина:

Биографией Булгарина читатель не располагал, был только образ Булгарина в сознании публики, точнее, два образа — один (основывающийся преимущественно на публикациях Булгарина (мемуары, обширные воспоминания о себе он опубликовал при жизни... как самоотчет и самозащиту) и его знакомых; по сути — самообраз) — у широкой читательской массы, другой — у очень узкого слоя столичных литераторов... и близких к ним лиц... При попытке писать биографию Булгарина биографы из массы сведений и трактовок выбирали те, которые соответствовали избранному ими образу. (Рейтблат, 2014: 219–221)

Автор прекрасно суммировал и ключевые черты биографического метода (в духе работ Голофаства [1995, 1997]):

Биография — это сложная словесная конструкции, это отображение, а не отражение жизни человека... Жизнь изображается не как хаотичный набор не связанных между собой поступков, обстоятельств и т. д., а как осмысленное целое. При этом биография носит диахронный, а не синхронный характер, в ней есть движение во времени и изменение... биограф должен исходить из конкретных данных о жизни биографируемого... биограф исходит из идеологических, моральных и эстетических норм, существующих в данном обществе... (Рейтблат, 2014: 211–212)

Часть информации о жизни

возникает самопроизвольно (делопроизводственные документы, создаваемые в различных учреждениях), часть специально порождает биографируемый и его знакомые, часть инициирует сам биограф (опрашивая знакомых и т. д.). Это еще не биографические факты, фактами они становятся, когда включаются в биографическую конструкцию, становятся ее элементами, вступают во взаимосвязи. (Рейтблат, 2014: 211–212)

Второй раздел содержит массу методологических размышлений и рекомендаций автора относительно биографического метода. В качестве ключевой тенденции в его развитии он называет сближение с повседневностью, что «выражается в растущем числе публикуемых биографий, в биографировании самых разных, в том числе и не считавшихся ранее престижными и достойными запечатления социальных сфер, в отражении в биографиях „частной жизни“, эротической стороны и т. п., в показе негативных сторон». Однако все это не дает оснований говорить о расцвете жанра биографии по причине нынешнего «обезличивания и унификации людей»: биографы, «усвоив элитаристскую, недемократическую установку, не обладают необходимым инструментарием... чтобы понять „простого“ (а на деле — очень сложного) человека, осмыслить его жизнь. А ведь каждый человек уникален и имеет „право на биографию“. Найдет ли он своего биографа — это другой вопрос» (Рейтблат, 2014: 187). Личность биографа важна, потому что «повествование, чтобы быть биографией, должно представлять собой не простой свод фактов, не прямое отражение жизни человека, а осмысленную нарративную конструкцию... „текстуальную представленность на языке данной культуры феномена личностной индивидуальности“... „формулу“ жизни человека, представляющую ее как имеющую смысл, как некое движение, переход из одного состояния в другое» (Рейтблат, 2014: 179). Только так биография реализует две свои важнейшие функции — позволяет читателю ощутить, что (его) «индивидуальная жизнь имеет смысл и смысл этот социальный, в связи личности с обществом» (Рейтблат, 2014: 203); кроме того, «массовое сознание обычно осмысляет историю не в рамках генерализованных понятий, закономерностей и тенденций, а через личностные и семейные модели» (Рейтблат, 2014: 194).

Автор разводит биографию и автобиографию, с чем согласны далеко не все социологи: в биографии на первый план выносятся социально значимое, нормы и ценности общества, посредством отбора из массы фактов в нарратив только тех, что нужны для построения соответствующей смысловой конструкции; в автобиографии же «возникает сложная система зеркал, учитывающая подход общества к биографии, но все же автобиография отличается от биографии, написанной другим человеком» (невольно вспоминается «Биографическая иллюзия» П. Бурдые, 2002). Объединяет два вида биографического нарратива то, что в каждом сосуществуют несколько аспектов (Рейтблат, 2014: 203–207): биологический (физиологические состояния) и социальный (публичная сфера — работа, творчество,

политическая и общественная деятельность) и частная сфера — быт, личные привязанности, семейная жизнь, сексуальные практики, психические болезни, самые рутинные действия, прочие локально и или универсально табуированные темы, которые до их пор нередко презентуются крайне редуцированно по модели традиционного советского некролога: «Товарищ Нестеренко не имел личной биографии и личных потребностей» (Рейтблат, 2014: 198).

Несомненно, представленный читателю объемный, но фрагментарно-иллюстративный обзор важных для социолога, специализирующегося на текстовом анализе, (социо)лингвистических сюжетов и типов работ, не претендует на законченность или «статус» обязательного руководства к действию. По аналогии с должностными инструкциями, которые сегодня все мы подписываем при поступлении на работу, кто-то может внимательно отнестись к данному тексту как своеобразному предупреждению о том, с какими сложностями можно столкнуться, пытаясь реализовать правила научного метода, работая на стыке социологического и лингвистического «измерений» реальности; а кто-то, наоборот, может пойти по простому пути, целенаправленно игнорируя лингвистические нюансы работы с текстовым «измерением» социальности, как поступают многие исследователи роли дискурса в детерминации и поддержании социальных практик (столь же отстраненно многие подмахивают должностные инструкции — почти не читая, как неизбежную формальность). Оба пути — сложный и простой — в сфере текстового анализа в социологии неплохо срабатывают, так что, видимо, эта предметная область в нашей дисциплине, в отличие от опросных технологий, все еще предоставляет исследователю максимальную свободу выбора как практических действий, так и степени собственной «методологической травмированности» — с минимальными последствиями в виде профессиональной критики со стороны коллег.

Литература

- Аркадьев М. (2013). Лингвистическая катастрофа. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха.
- Бёдекер Х. Э. (2010). Отражение исторической семантики в исторической культурологии / Пер. с нем. В. Дубиной // История понятий, история дискурса, история менталитета. М.: Новое литературное обозрение. С. 5–17.
- Белянин В. П. (1999). Введение в психолингвистику. М.: ЧеРо.
- Бурдые П. (2002). Биографическая иллюзия / Пер. с франц. Е. Ю. Мещеркиной // ИНТЕР. № 1. С. 75–83.
- ван Дейк Т. А. (2014). Дискурс и власть: репрезентация доминирования в языке и коммуникации / Пер. с англ. Е. А. Кожемякина, Е. В. Переверзева, А. М. Амато-ва. М.: УРСС.
- Гальперин И. Р. (2009). Текст как объект лингвистического исследования / Отв. ред. Г. В. Степанов. М.: КомКнига.

- Голофаст В. Б.* (1995). Многообразие биографических повествований // Социологический журнал. № 1. С. 71–88.
- Голофаст В. Б.* (1997). Три слоя биографического повествования // Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ: Материалы международного семинара / Под ред. В. Воронкова, Е. Здравомысловой. СПб.: ЦНСИ.
- Гусейнов Г.* (2012). Нулевые на кончике языка: краткий путеводитель по русскому дискурсу. М.: Дело.
- Дойчер Г.* (2016). Сквозь зеркало языка: почему на других языках мир выглядит иначе / Пер. с англ. Н. Ю. Жуковой. М.: АСТ.
- Залевская А. А.* (2005). Слово. Текст: Избранные труды. М.: Гнозис.
- Золотова Г. А., Ониненко Н. К., Сидорова М. Н.* (1998). Коммуникативная грамматика русского языка. М.: Изд-во МГУ.
- Козеллек Р.* (2010). К вопросу о темпоральных структурах в историческом развитии понятий / Пер. с нем. В. Дубиной // История понятий, история дискурса, история менталитета. М.: Новое литературное обозрение. С. 21–33.
- Козлова Н. Н., Сандомирская И. И.* (1996). «Я так хочу назвать кино». «Наивное письмо»: опыт лингвосociологического чтения. М.: Гнозис.
- Кондрашов Н. А.* (2004). История лингвистических учений. М.: УРСС.
- Кронгауз М.* (2008). Русский язык на грани нервного срыва. М.: Знак, Языки славянских культур.
- Купина Н. А.* (1980). Лингвистический анализ художественного текста. М.: Просвещение.
- Кюглер П.* (2005). Алхимия дискурса: образ, звук и психическое / Пер. с англ. В. В. Зеленского и З. А. Кривулиной. М.: Когито-Центр.
- Макаров М. Р.* (2003). Основы теории дискурса. М.: Гнозис.
- Мартынов В. В.* (2001). Основы семантического кодирования: опыт представления и преобразования знаний. Минск: ЕГУ.
- Орлов Ю. Н., Осминин К. П.* (2012). Методы статистического анализа литературных текстов. М.: УРСС.
- Плунгян В.* (2016). Почему языки такие разные. М.: АСТ-Пресс Книга.
- Рейтблат А. И.* (2014). Писать поперек: статьи по биофике, социологии и истории литературы. М.: Новое литературное обозрение.
- Рождественская Е. Ю.* (2010). Нарративная идентичность в автобиографическом интервью // Социология: 4М. № 30. С. 5–26.
- Татарова Г. Г.* (2006). Методологическая травма социолога: к вопросу интеграции знания // Социологические исследования. № 9. С. 3–12.
- Тичер С., Мейер М., Водак Р., Веттер Е.* (2009). Методы анализа текста и дискурса / Пер. с англ. А. А. Киселевой. Харьков: Гуманитарный центр.
- Троцук И. В.* (2014). Текстовый анализ в социологии: проблемы и обещания разных типов «чтения» слабоструктурированных данных. М.: Изд-во РУДН.
- Федотова Л. Н.* (2001). Анализ содержания: социологический метод изучения средств массовой коммуникации. М.: ИС РАН.

- Чернявская В. Е. (2010). Интерпретация научного текста. М.: УРСС.
- Шевченко Н. В. (2003). Основы лингвистики текста. М.: Приор-издат.
- Штомпка П. (2005). Социология. Анализ современного общества / Пер. с польск. С. М. Червонной. М.: Логос.
- Franzosi R. (1998). Narrative Analysis — or Why (and How) Sociologists Should Be Interested in Narrative // *Annual Review of Sociology*. Vol. 24. P. 517–554.
- Gilgun J. F. (2004). Fictionalizing Life Stories: Yukee the Wine Thief // *Qualitative Inquiry*. Vol. 10. № 5. P. 691–705.

“Linguistic Catastrophe” of the Sociologist Focused on Textual Analysis

Irina Trotsuk

DSc (Sociology), Centre for Fundamental Sociology, National Research University Higher School of Economics
Associate Professor, Sociology Chair, Peoples' Friendship University of Russia
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: irina.trotsuk@yandex.ru

The article was originally intended as a review of A. I. Reytblat's book *Writing Across: Articles on Biographics, Sociology and History of Literature*. However, the text turned into a brief overview and even an attempt to “classify” the works which every sociologist focused on textual analysis should read. Such a change of the author's intention was determined by three factors. The first is the “methodological trauma” of sociologists who constantly clarify the grounds of their empirical work and conceptualizations under the nowadays-exalted interdisciplinarity of sociology. The second factor is the aggravation of this problem in the field of textual analysis which lacks conventional nominations of analytical approaches, not to mention rules and procedures of the “classical” scientific methodology. The third factor responsible for the change in the author's intention is the need for some minimum competence in the disciplines that influence textual analysis in sociology and, thus, their impact has to be evaluated in terms of their causes, consequences, and limits. The author identifies four types of non-sociological works on different linguistic aspects of social life that can form such a competence: (1) practical guidelines for the linguistic analysis essential for correct content analytical studies; (2) publicist estimates of the role of language in social life and of the transformations of the current Russian language/discourse; (3) philosophical works devoted not as much to the discursive construction of social reality as to the fundamental role of language in its constitution and destruction, and; (4) works on the social life of texts that can conditionally fit into the notion of the “sociology of literature”.

Keywords: textual analysis in sociology, linguistic analysis, the social role of language, discursive construction of reality, social life of texts, interdisciplinarity, non-sociological types of works on “the problem of text”

References

- Arkadiev M. (2013) *Lingvističeskaja katastrofa* [Linguistic Catastrophe], Saint Petersburg: Ivan Limbakh Press.
- Boedeker H. E. (2010) *Otrazhenie istoričeskoj semantiki v istoričeskoj kul'turologii* [Reflection of the Historical Semantics in the Historical Cultural Studies]. *Istorija ponjatij, istorija diskursa*,

- istorija mentaliteta [History of Concepts, History of Discourse, History of Mentality] (ed. H. E. Boedeker), Moscow: New Literary Observer, pp. 5–17.
- Belianin V. (1999) *Vvedenie v psiholingvistiku* [Introduction to Psycholinguistics], Moscow: CheRo.
- Bourdieu P. (2002) Biograficheskaia illuzija [Biographical illusion]. *INTER*, no 1, pp. 75–83.
- Chernyavskaya V. (2010) *Interpretacija nauchnogo teksta* [Interpretation of the Scientific Text], Moscow: URSS.
- Deutscher G. (2016) *Skvoz' zerkalo jazyka: pochemu na drugih jazykah mir vygljadit inache* [Through the Language Glass: Why the World Looks Different in Other Languages], Moscow: AST.
- Fedotova L. (2001) *Analiz sodержanija: sociologicheskij metod izuchenija sredstv massovoj kommunikacii* [Analysis of the Content: A Sociological Method to Study Mass Communication], Moscow: Institute of Sociology RAN.
- Franzosi R. (1998) Narrative Analysis — or Why (and How) Sociologists Should Be Interested in Narrative. *Annual Review of Sociology*, vol. 24, pp. 517–554.
- Gilgun J. F. (2004) Fictionalizing Life Stories: Yukee the Wine Thief. *Qualitative Inquiry*, vol. 10, no 5, pp. 691–705.
- Galperin I. (2009) *Tekst kak ob'ekt lingvisticheskogo issledovanija* [Text as an Object of Linguistic Study], Moscow: KonKniga.
- Golofast V. (1995) Mnogoobrazie biograficheskikh povestvovanij [Diversity of biographical narratives]. *Journal of Sociology*, no 1, pp. 71–88.
- Golofast V. (1997) Tri sloja biograficheskogo povestvovanija [Three Layers of the Biographical Narrative]. *Biograficheskij metod v izuchenii postsocialisticheskikh obshhestv* [Biographical Method in the Study of Post-Socialist Societies] (eds. V. Voronkov, E. Zdravomyslova), Saint Petersburg: CISR.
- Guseynov G. (2012) *Nulevye na konchike jazyka: kratkij putevoditel' po russkomu diskursu* [2000s on the Tip of the Tongue: A Brief Guide to the Russian Discourse], Moscow: Delo.
- Kozelleck R. (2010) K voprosu o temporal'nyh strukturah v istoricheskom razvitii ponjatij [On the Temporal Structures in the Historical Study of Notions]. *Istorija ponjatij, istorija diskursa, istorija mentaliteta* [History of Concepts, History of Discourse, History of Mentality] (ed. H. E. Boedeker), Moscow: New Literary Observer, pp. 21–33.
- Kozlova N., Sandomirskaya I. (1996) "Naivnoe pis'mo": opyt lin-gvosociologicheskogo chtenija ["Naïve Writing": A Case of Linguistic-Sociological Reading], Moscow: Gnozis.
- Kondrashov N. (2004) *Istorija lingvisticheskikh uchenij* [History of Linguistic Theories], Moscow: URSS.
- Krongauz M. (2008) *Russkij jazyk na grani nervnogo sryva* [Russian Language on the Verge of a Nervous Breakdown], Moscow: Znak, Jazyki slavjanskih kul'tur.
- Kupina N. (1980) *Lingvisticheskij analiz hudozhestvennogo teksta* [Linguistic Analysis of the Literary Text], Moscow: Prosveschenie.
- Kugler P. (2005) *Alhimija diskursa: obraz, zvuk i psihicheskoe* [The Alchemy of Discourse: Image, Sound, and Psyche], Moscow: Kogito-Center.
- Makarov M. (2003) *Osnovy teorii diskursa* [Basics of Discourse Theory], Moscow: Gnozis.
- Martynov V.V. (2001) *Osnovy semanticheskogo kodirovanija: opyt predstavlenija i preobrazovanija znanij* [Basics of Semantic Coding: A Case of Presentation and Transformation of Knowledge]. Minsk: EHU.
- Orlov Y., Osminin K. (2012) *Metody statisticheskogo analiza literaturnyh tekstov* [Methods of Statistical Analysis of Literary Texts], Moscow: URSS.
- Plungyan V. (2016) *Pochemu jazyki takie raznye* [Why Languages Are So Different], Moscow: AST-Press kniga.
- Reytblat A. (2014) *Pisat' poperek: stat'i po biografike, sociologii i istorii literatury* [Writing Across: Articles on Biographics, Sociology, and History of Literature], Moscow: New Literary Observer.
- Rozhdestvenskaya E. (2010) Narrativnaja identichnost' v avtobiograficheskom interv'ju [Narrative Identity in the Autobiographical Interview]. *Sociologija*: 4M, no 30, pp. 5–26.
- Shevchenko N. (2003) *Osnovy lingvistiki teksta* [Basics of Text Linguistics], Moscow: Prior-izdat.
- Sztompka P. (2005) *Sociologija: analiz sovremennogo obshhestva* [Sociology: Analysis of the Contemporary Society], Moscow: Logos.

- Tatarova G. (2006) Metodologičeskaja travma sociologa: k voprosu integracii znanija [Methodological Trauma of the Sociologist: On the Integration of Knowledge]. *Sociological Studies*, no 9, pp. 3–12.
- Titscher S., Meyer M., Wodak R., Vetter E. (2009) *Metody analiza teksta i diskursa* [Methods of Text and Discourse Analysis], Kharkov: Humanitarian Center.
- Trotsuk I. (2014) *Tekstovyj analiz v sociologii: problemy i obeshhanija raznyh tipov "čtenija" slabostruktirovannyh dannyh* [Textual Analysis in Sociology: Challenges and Promises of Different Types of "Reading" of Non-Structured Data], Moscow: RUDN.
- Van Dijk T. A. (2014) *Diskurs i vlast': reprezentacija dominirovanija v jazyke i komunikacii* [Discourse and Power: Representation of Dominance in Language and Communication], Moscow: URSS.
- Zalevskaja A. (2005) *Slovo. Tekst: Izbrannye trudy* [Word. Text: Selected Works], Moscow: Gnozis.
- Zolotova G., Onipenko N., Sidorova M. (1998) *Kommunikativnaja grammatika russkogo jazyka* [Communicative Grammar of Russian Language], Moscow: MSU.